

Елена Съянова  
МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ БОЛЬШОЙ ИСТОРИИ  
*Серия «Время читать!»*

16+

В своей новой книге писатель, журналист и историк Елена Съянова, как и прежде (в издательстве «Время» вышли «Десятка из колоды Гитлера» и «Гитлер\_директория»), продолжает внимательно всматриваться в глубины веков и десятилетий. Судьбы и события, о которых она пишет, могли бы показаться незначительными на фоне великих героев и великих злодеев былых эпох — Цезаря, Наполеона, Гитлера.. Но у этих «маленьких трагедий» есть одно удивительное свойство — каждая из них, словно увеличительное стеклышко, приближает к нам иные времена, наполняет их живой кровью и живым смыслом.

Елена Съянова

маленькие трагедии

***Большой  
истории***



## Первая жертва гильотины

17 апреля 1792 года во двор парижской тюрьмы Биссетр въехали две телеги. На одной стояло что-то высокое и прямое, тщательно укрытое холстами. С другой — спрыгнули мастеровые в куртках и красных колпаках и принялись за работу — сколотили деревянный помост и установили на него невиданную доселе конструкцию из двух столбов, перекладки, доски, веревок, рычага и еще какого-то приспособления. И вся тюрьма, ахнула: в глаза заключенным, прильнувшим к окнам камер, тускло блеснуло отточенное, как бритва, лезвие нового механизма, предназначение которого было очевидно. В Париже о нем уже слышали и даже успели окрестить — «луизеттой». Еще его называли «гильотиной» по имени доктора Гильотена, скромного изобретателя, следовавшего в духе времени гуманному принципу, по которому человеческую руку следовало избавить от позора причинения смерти другому человеку, жертва имела право избежать страданий, а родственники — получить не обезображенное конвульсиями тело. Правда, без головы. Аккуратно отсеченная от тела голова, прикладывалась и тоже выдавалась, отдельно.

Вообразите себе, как при виде «луизетты» заключенные тюрьмы Биссетр схватились за свои головы, решив, что головорезку привезли именно для них! Но ужас быстро сменился жгучим любопытством.

Во двор тюрьмы въехала еще одна телега, с тремя трупами. Это были умершие (своей смертью) заключенные из двух других тюрем, присланные сюда дирекцией парижских госпиталей для испытания двух вариантов лезвий — полулунного и косвенно-усеченного. Первое придумал немец по фамилии Шмидт, второе — доктор Антуан Луи: отсюда, кстати, и прозвище «луизетта», правда, с ядовитым намеком на будущее головы короля Людовика XVI.

Испытания начались. Сначала опробовали вариант доктора Луи: два трупа по очереди привязывали к доске, доска опускалась, шея оказывалась точно в том месте, куда падало лезвие, и обе головы, таким образом, благополучно скатывались в корзину. Когда опробовали полулунное лезвие Шмидта, произошел сбой и лезвие на одну голову пришлось опускать дважды.

Впрочем, никто не придавал этому особого значения, пожалуй только, кроме палача — Шарля-Генриха Сансона,

наследника знаменитой династии. Сансон взялся сам передать тело последнего испытываемого его родственникам, чего прежде никогда не делал. Он привез обезглавленный труп на улицу Платьер, где жил молодой человек по имени Жюль Дево, родной брат Шарля Дево, чью голову Сансон и внес в дом в плетеной корзине.

Пристально взглянув на молодого человека, Сансон молча протянул ему корзину. Жюль Дево, еще не понимая, сдернул платок, и на него — затаенными смертной мутой глазами — взглянула... его собственная отсеченная голова.

Дево вскрикнул, зашатался и рухнул к ногам Сансона. Палач дождался, пока Жюль пришел в себя, и холодно поинтересовался, для чего это он разыгрывает столь сильное потрясение?! Разве подменив себя своим братом-близнецом и оставив того в тюрьме, он одним этим не подверг его смертельной опасности?!

— Сударь, выслушайте меня! — взмолился Жюль Дево. — Все было совсем не так! Мой брат Шарль родился всего на час раньше меня, но считал себя старшим и иногда умел заставить меня себе подчиниться. Он винил себя в том, что я пошел по преступному пути и, когда меня приговорили, придумал план, как спасти мне жизнь. Дело в том, что Шарль с детства страдал приступами эпилепсии, после которых на много дней впадал в летаргический сон, похожий на смерть так же, как мы с ним — друг на друга. Во время нашего последнего свидания он заставил меня переодеться и выйти из тюрьмы вместо него, а сам остался, сказав, что уже чувствует приближение приступа. Об остальной части плана вы легко догадаетесь: во время приступа его поместили бы в больницу, потом наступила бы летаргия, принятая за смерть, — а так уже бывало — и его тело выдали бы мне как единственному родственнику для предания земле. А когда он очнулся бы, мы с ним бежали бы... О, Пресвятая Дева! — снова зарыдал Жюль Дево. — Какая чудовищная нелепость! Почему из всех умерших выбрали именно моего брата?!

Сансон вздохнул, в душе согласившись с тем, что нелепость и впрямь вышла чудовищная. Еще там, во дворе тюрьмы Биссетр, он понял, что один из тех, кого положили под нож гильотины, оказался жив, потому что, когда полулунное лезвие опустилось на его шею, не до конца отъединенная от туловища голова вдруг открыла глаза, страшно захрипела, а по всему телу прошли конвульсии.

Видел ли это еще кто-то из присутствующих, Сансон так и не узнал. Оставив несчастного предаваться его горю

и молитвам, палач отправился в муниципалитет, чтобы поставить свою подпись под протоколом об испытаниях новой машины для казней, в результате которых полулунное лезвие забраковали и оставили косвенно-усеченное — то самое, что еще более полутора столетий станет верно служить французскому правосудию.

Ну что тут скажешь?! Сколько ни усовершенствуй орудия смертной казни, а первой жертвой все равно падет невинный!

## Самоубийца Катрина Бушо

Конец августа 1792 года. Союзные армии королевской Европы стремительно движутся на революционный Париж, где контрреволюция готовит большую резню. Роялисты всех мастей, даже сидящие в тюрьмах, потирают руки: скоро, уже совсем скоро свершится месть этим «проклятым санкюлотам!» Но санкюлоты не дремлют. Они рыщут по городу в поисках складов с оружием. Находят и громят редакции роялистских газет. Париж гудит от недовольства медлительностью Революционного трибунала, слишком долго рассматривающего дела заговорщиков. Парижане вот-вот сами возьмутся вершить «революционное правосудие», и тогда мало не покажется никому. Грядет сентябрь 1792 года... Приближается большая трагедия сентябрьской резни.

В эти дни, а именно — 30 августа, на улице Сен-Сьерж, уныло скрючившейся в вечной тени старинной башни Тампль, под мясной лавкой, вездесущие санкюлоты разыскали обшитую кованым железом дверь, судя по клейму установленную здесь недавно, а за нею — еще одну, старую, неприступную, как ворота в рай. Провозившись с нею полдня, патриоты пустили слух, что тут не что иное, как склад оружия для роялистов, готовящихся освободить короля. Такие слухи теперь разлетались по Парижу, как испуганные воробьи, и вечером к Тамплю стала сползаться возбужденная толпа. Начавшийся ливень только добавил жару. Вымокшие патриоты бросили долбить и терзать дверь и решили ее взорвать. Кто-то из знающих в этом деле толк, заикнулся было, что может рухнуть весь дом, но его едва не прибили.

В сумерках взрыв грянул. Косой домишко хрюкнул, застонал и провалился в тот самый подвал, который и впрямь оказался обширным и глубоким. В развалинах вскоре откопали старинный клинок, потом вытащили сломанную аркебузу... Кто-то высказался на предмет того, что подобным оружием уже лет двести никто никого не освобождал, но ему надавали тумачков. Здравый смысл умолк, и взял слово набат.

Все это время молодая мать, примотав платком к животу полугодовалого младенца и держа за руку еще одного, трехлетнего, металась среди деловитых патриотов, таскающих из развороченного дома клинки, кремни, мушкеты и богинеты времен Тридцатилетней войны. Весь этот бессмысленный арсенал складывали среди останков ее

бывшего обиталища — каморки над погребом, где она жила со своими детьми.

— Как же мне теперь, куда деваться с ними? — приставала она к каждому, кто проходил по мокрым камням, похоронившим ее жилище вместе со всем, что в нем было. Бедняжка совсем растерялась. Муж с апреля служил в армии; мясник, его дальний родственник, как только заговорили о подвале, поспешил забрать свой товар и сбежал вместе с семейством. А куда деваться ей? Младенец пищал у нее на руках; она покормила его, цыкнула на трехлетнего, чтоб не ныл. Дождь никак не кончался. Факелы нещадно чадили, наполняя улицу едким дымом, и гасли. Не найдя пригодного оружия, вымокшие патриоты почему зря кляли «толстого Луи» с его «ведьмой-австриячкой». Разозленные, еще не остывшие от неудачи они отмахивались от бестолковой бабы, лезущей им под ноги со своими сопляками.

— Ступай в секцию Гравилье, тетка, — наконец отозвался кто-то, за кого она в отчаянии крепко уцепилась, — или в Коммуну иди.

— А лучше — уноси подальше ноги вместе со своей ребятней, — посоветовал чей-то хриплый голос. — А то, как бы тебя не обвинили, что ты заговорщица и оружие стерегла!

— Какое это оружие, тьфу! — бросил третий. — Пошли, ребята!

Заговорщица? У Катрины Бушо — так звали молодую мать — руки сами разжались и выпустили рукав патриота. Заговорщица... Это было страшное слово. Самое страшное теперь в Париже! Заговорщик, заговорщица был приговор, означавший скорую и верную смерть. Воздух предместий звенел в ожидании набата. Пощады не будет никому!

Катрина это знала. Когда сгинул последний факел, она увидела два тусклых «глаза» Тампля, где заперт ненавистный король. Она попятилась от Тампля. За спиной лежал бедняцкий квартал секции Гравилье — самой патриотической в Париже: там яростнее всего кричали о заговорщиках. Она попятилась и от Гравилье и... споткнулась о кучу сваленного у стены оружия. Куда же ей пойти?

В голове Катрины как будто сошлись три серых тени: страх, усталость и безмыслие. И раздавили ее.

Утром у Нового моста прибило к берегу женщину с двумя детьми: один был привязан у нее на животе, другой крепко держался за руку.

«Эта мать утопилась от голода! Роялисты сознательно морят голодом патриотов!» — в один голос заявили

патриотические газеты.

Как они промахнулись! Бедняцкий Париж прекрасно понял: Катрину Бушо убил страх. А это значило, что, еще не создав граждан, Франция уже вступала в гражданскую войну.



## Перевертыши «пламенных времен»

Конец лета 1792 года. Зарево Французской революции бросает кровавые мазки на лазоревые пасторали королевских дворов Европы. Людовик Шестнадцатый теперь титулуется «гражданином Капетом» и сидит в башне Тампль в мучительном ожидании, пока его многочисленные кузены соберут свои армии, чтобы большим кровопусканием излечить его страну от революционной лихорадки. Наконец армии собраны; герцог Брауншвейгский грозит смыть Париж в Сену кровью взбесившихся патриотов; его армия, преодолевая по сорок миль в день, подступает с северо-востока к пограничной крепости Лонгви. Батареи открывают огонь. Крепость горит. Но она дерется! Она огрызается, как раненый зверь, оставляя куски мяса в пасти противника, и ужимается до последнего вала, до горстки самых стойких во главе со своим комендантом по имени Жан Лаверн.

Еще не стихла стрельба, а в Париж уже летит новость — Лонгви пала. Лонгви! Это слово, как отравленная стрела, впивается в сердце Франции и порождает страх. Страх — паралич революции! Но Дантон и якобинцы знают, как двинуть ее вперед: в их руках большинство газет и трибун, все улицы и площади Парижа. Страх — материя особого рода: мужества из нее не выкроишь, но кое-что иное грубо прошивает ее вкривь и вкось — ненависть. Именно она — ненависть — встречает коменданта Лаверна и его израненных бойцов, когда они добираются до Парижа, чтобы сообщить все, что своей шкурой узнали об армии Брауншвейгского, о его пушках и снарядах, о тактике осады, о слабости французской армии. Каким воем встречает этих героев зал Законодательного собрания, какие смачные плевки летят в них на улицах и площадях! «Мы имели по одному канониру на две пушки, в бомбах не было пороха, затравки не загорались, мы дрались, дрались! Что еще мы могли сделать?! — взывает Лаверн к трибунам законодателей. «Умереть!» — отвечает Дантон. И депутаты повторяют за ним: «Умереть!». Все стены Парижа кричат это слово в лицо Лаверна; теперь он — живой символ трусости и предательства, а его крепость — национальное посмешище и позор! Уже принято решение: Лонгви должна быть скрыта, а распаханное поле на ее месте никогда не будет засажено деревьями свободы!

2 сентября. Генерал Брауншвейгский уже под Верденом. 60 тысяч прусаков и австрийцев с опаской взирают на

грозные стены цитадели. Это не маленькая Лонгви, это сам неприступный Верден — ключ к Франции! Коменданта зовут Жозеф Борепер, он опытный генерал и держит в своих руках все управление крепостью.

Но 2 сентября генерала Борепера в последний раз видели возле бойницы в три часа дня. Больше он нигде не появлялся. Его ищут чиновники муниципалитета, его ожидают парламентарии герцога Брауншвейгского с вежливым предложением сдаться, его разыскивают растерянные офицеры...

Пока солнце рыжим апельсином скатывается в Маас, генерал Борепер успевает исписать полторы страницы — это для жены и детей, а остальные — будьте вы все прокляты! «Я боюсь сделаться вторым Лаверном», — такое объяснение оставил он семье. Потом звучит выстрел. Коменданта Вердена больше нет. А значит, нет и Вердена. Ключ отомкнут: Брауншвейгский вперед!

И снова, загоня лошадей, летит в Париж эта новость: Верден сдан, комендант мертв. Якобинцы в бешенстве: они требуют предать анафеме имя генерала Борепера. Вот уж трус так трус!

Но настроение Парижа уже переменялось. Дантон собирает армию; на всех площадях идет запись волонтеров; женщины шьют форму; мужчины льют пушки и ядра, и каждый ребенок знает слова гимна будущих побед — «Марсельезы». Воспрянувшему Парижу больше не нужны трусы; ему требуются герои. Нация готовится воевать, и вожди создают культ мертвых. «Я требую для генерала Борепера почестей Пантеона», — гремит Дантон и заставляет умолкнуть справедливость. И мертвый Борепер производится в чин национального героя.

Через много лет, уже во времена Реставрации, видимо, из конъюнктурных соображений, престарелые вдовы обоих комендантов попытаются рассказать правду: вдова Лаверн — о незаслуженной клевете, возведенной революцией на имя ее мужа; вдова Борепер — о незаслуженных почестях от той же преступной революции. И то и другое вполне впишется в тогдашний политический перевертыш. Но История не поверит женщинам. Как сказал бы поэт:

Над ложью пламенных времен  
Не властна праведность имен.

## Негражданин Пейн

1809 год. Соединенным Штатам Америки исполнилось тридцать три. Президент страны Джефферсон сумел почти вдвое увеличить ее территорию, рассчитаться с долгами, снизить налоги... Американское государство — крепнувший младенец, сбрыкивающий пеленки, не станет ползать, оно уже стремится ходить. Ему еще нужна опора — сильная президентская партия, но уважение к памяти Вашингтона не позволит президенту Джефферсону выдвинуться на третий срок. И это только добавит уважения к нему самому, а значит, и усилит партию республиканцев.

Впрочем, в селении Нью-Рошель их всегда ненавидели. В таких местечках питаются слухами многолетней давности; каждую приходящую газету читают всей деревней по два месяца, прежде чем берутся за новую. Зато дороги тут хороши, дома добротны, люди живут долго, дети умирают редко. Законопослушные жители Нью-Рошеля все как один явились исполнить свой гражданский долг и проголосовать за того, кого укажут уважаемые в деревне люди — местные тори. Регистрировались, важно произносили длинные, увесистые, часто двойные фамилии, неторопливо чертили свой крест. Внезапно точно две шальные пули впились в эту скучную добропорядочность: это худой сутулый человек, незаметно стоявший в очереди, назвал свое имя — Том Пейн.

Два удара хлыстом по застоявшейся кляче, два набатных колокола в сонной тишине... Том Пейн!

Великие имена, известные всему миру, могли ничего не говорить славным фермерам Нью-Рошеля, но это имя знали даже здесь! Ведь он был Здравый Смысл — его книжку с таким названием пронес в своем тощем ранце каждый солдат Континентальной армии, завоевавшей для этих фермеров свободу жить, работать и богатеть.

Когда-то эта армия, измотанная неудачами, начала буквально разваливаться на глазах ее командира — Джорджа Вашингтона, который и сам еще не мог четко объяснить, зачем бросил богатое имение и все земные радости и застрял под Бостоном во главе горстки ленивых, своевольных янки и куда все это может их завести. Он просто любил землю, уважал достоинство людей, на ней трудившихся, ненавидел алчность англичан, презирал их короля... Но как это высказать, как дать зачатой и уже выношенной нации обоснование — почему нужно еще поднатужиться и наконец родиться на этот прекрасный и опасный свет. Он был

хорошим хозяином и становился неплохим генералом, но тут требовалось иное. Армия нуждалась *в слове!*

Том Пейн, англичанин, бывший корсетник из Тетфорда, нищий журналист, написал тоненькую книжку под названием «Здравый смысл», в которой сумел втолковать маленькому человеку, для чего нужно ему восстать из грязи, как заявить свое право и как его отстоять. Солдат Пейн прошел с континентальной армией весь ее путь; он всегда был там, где страна впадала в кризис, и очередной «КРИЗИС» — набранный крупно, чтобы читать у костра на бивуаке, выходил из-под его пера. Джефферсон, составляя проект Декларации независимости, опирался на «Здравый смысл» Пейна, да и само название нового государства — Соединенные Штаты Америки — было впервые произнесено именно им — вечным солдатом революции, сторонившимся чинов и званий, нищим и неприкаянным Томом Пейном.

Будут еще знаменитые «Права человека», «Век разума», много чего. Никогда не будет только респектабельности, жизненного обустройства, статуса. Хотя зачем оно тому, чье имя известно даже в Нью-Рошеле?!

И вот теперь он стоял перед избирательной комиссией, чтобы совершить последнее в жизни дело — поставить свой крест под тем, за что боролся.

— В выборах участвуют только лица, имеющие гражданство, — ответил председатель комиссии, — А вы не являетесь гражданином Соединенных Штатов Америки.

— Но я — Пейн! Том Пейн!

— Здесь вы никто, — был ответ.

И все покатались со смеху. Этот старикашка мог иметь всё, но не позаботился о малом.

Он еще пробовал возмущаться, что-то доказывать... Но потом махнул рукой и поплелся прочь — сутулый и нелепый, негражданин Пейн — никто среди славных граждан Нью-Рошеля.

## Брызги на знамени

В 1932 году Эрнст Рем, руководитель штурмовых отрядов, был еще для партии человеком незаменимым. Но его репутация отвязного гомосексуалиста, — что было делать с ней?! «Делайте что хотите, — заявил Гитлер своему окружению. — Через месяц у меня встреча с военным министром. К этому времени грязного белья не отстирать, но можно составить духи покрепче! Чтобы хоть пресса перестала воротить от Эрнста нос!»

«Духи покрепче» взялся составить Гиммлер. В его понимании перешибить зловоние порока могла бы, например, жалость, сочувствие к носителю этого порока со стороны неискушенного обывателя.

21 октября 1932 года посетители маленького кафе «Метрополис» в восточном пригороде Берлина напоминали участников детской игры «замри» и только дико вращали глазами на двухметровых парней в черном, тускло глядящих поверх голов. Если кто-то делал попытку подняться, его тотчас швыряли на место. «Метрополис» посещали в основном молодые актеры и безработные леваки, недавно объединившиеся в маленькую партию, которая и проводила тут свои бестолковые и сумбурные заседания. Гиммлер и выбрал ее за случайный состав, идейный разброд, а главное — за удаленность от центра и безответность этих несчастных, на которых можно свалить что угодно: едва ли полиция станет разбираться с ними всерьез.

Через десять минут после появления эсэсовцев в кафе вломились другие персонажи. Их коричневые рубашки были хорошо известны берлинцам; многим были знакомы и их дубинки, которыми те принялись молотить по столам, спинкам стульев и стенам, словно подстегнув действие пьесы абсурда; раздался женский визг, звон посуды; все пришло в хаотическое движение, из которого под шумок выдернули троих и утащили в подсобку, где дожидался Гиммлер. Он тут же вышел, прошел в зал и отдал приказ. Все стихло. Коричневые убрались, а черные начали наводить порядок: поднимали стулья, сгребали осколки. Гиммлер принес извинения посетителям, объяснив, что они только что сделались свидетелями ареста опасных заговорщиков, покушавшихся на жизнь начальника штаба СА, героя войны, полковника Эрнста Рема.

Потом Гиммлер вернулся к арестованным. Трое безработных — двое молодых и один пожилой вели себя

спокойно, уверенные, что произошла ошибка.

— Нас с кем-то спутали, — сказал пожилой Гиммлеру. — Вы ищите, кого вам нужно, а мы ни при чем.

— Разберемся, — доброжелательно кивнул Гиммлер.

«Заговорщиков» вывели из кафе к машинам. Дальше «сценарий» предполагался такой: всех троих отвезут в штаб СА и станут допрашивать. Опытные адвокаты, которых предложат арестованным, напустят туману, прижмут клиентов к стене, затем предложат деньги. Утром трое (и одного достаточно) заявят в полицию об участии в заговоре с целью покушения. Нацистская пресса поднимет шум. И дело будет сделано — каждый получит свое: «жертва» Рем — сочувствие, «злоумышленники» — год условно и кругленькие суммы, а Гиммлер — благодарность от фюрера.

Но тут произошло неожиданное. Один из «заговорщиков», самый молодой, когда его подвели к машине, внезапно вильнул, как заяц, в сторону и бросился бежать. Штурмовик из уличного оцепления, шутя, сделал ему подножку, и парень покатился по мостовой. В том месте, где он упал, большой камень оказался весь залит кровью. Брызги крови и мозга попали на знамя СС и на мундир Гиммлера. Когда мальчишку подняли и встряхнули, изо рта у него хлынула кровь; он перестал дышать.

Гиммлер почистил платком китель, велел свернуть знамя и всем уезжать. В штабе он прошел к себе кабинет и вызвал самого сообразительного из адъютантов Карла Вольфа.

— Отыщите семью мальчишки и заплатите им за молчание. Потом переправьте через границу, — приказал Гиммлер.

— А если они откажутся? — спросил Вольф.

— Тогда без денег и еще дальше, — бросил Гиммлер. — И знамя... знамя отстирать! На нем кровь героев, а не всяких там!

Вольф вышел. Первое поручение он выполнил легко, и уже через день одновременно с сообщением о покушении на Рема, в хронике происшествий вышла крохотная заметка о пожаре, в котором сгорела семья из пяти человек. А вот с выполнением второго Карл Вольф намучился: знамя СС — то самое, легендарное, с которым Гитлер шел на полицию во время Мюнхенского путча, после стирки получилось безнадежно испорченным: мозги оказались вьедливыми: они съели краску и повредили ткань. Пришлось Вольфу знамя тайком сжечь и заменить копией.

## Молитва арийской матери

*Фюрер, мой фюрер, данный мне Господом!  
Спаси и сохрани мою жизнь!  
Фюрер, мой фюрер, моя вера, мой свет!  
Не покидай меня веки!*

Бальдур фон Ширах

27 апреля 1945 года, перед тем как присесть на минутку за стол, чтобы выпить горячего чаю, пятнадцатилетний член Гитлерюгенда Мартин Грюнер, привычно произнес эту молитву, которую повторял перед завтраком и ужином каждый день своей коротенькой жизни. Его мать Герда Грюнер так привыкла к ней, что и сама затвердила это обращение не к самому Господу, а к тому, кто был ближе, лучше него! Поколения Грюнеров, аккуратно молившиеся этому Господу, ничего у него не вымолили, кроме нищеты, грязи, болезней, беспросветности. А ведь они работали, они всегда так много работали! Но вот пришел фюрер и открыл для них свет: в этой квартире, в которую они перебрались из своей прежней конуры, всегда было солнце, впервые она и муж узнали, что значит отдыхать, а их мальчикам не пришлось попробовать то, на чем их родители выросли, — голода. И что им было за дело до всяких там евреев и коммунистов, мешавших фюреру делать жизнь немцев легче и счастливее!

Потом началась война, началась как-то незаметно, необременительно. Герду война ударила только в сорок втором, когда под Сталинградом погиб муж. Стало хуже: пугали бомбежки, пришлось пойти работать — прачкой в бытовой комбинат, обслуживающий штаб верховного командования. И все из-за злобных русских и коварных англичан! Сын стал часто отлучаться из дому, а в последний месяц его и вовсе забрали в отряд самообороны, и он только изредка забегал домой переменить белье.

27 апреля Герда напоила его чаем, собрала чистые рубашки, и он ушел, взвалив на плечо тяжелый фаустпатрон. А вечером к ней пришли два офицера, велели быстро собраться и следовать за ними — в рейхсканцелярию, в ставку фюрера. Ей объяснили, что теперь там она будет делать свою работу — стирать белье, что эта честь оказана ей, как истинной арийке и вдове героя. Она немного растерялась: в соседней комнате спал второй сын, четырехлетний. Офицеров о нем, по-видимому, не предупредили. Узнав, они

переглянулись: один выругался, но другой махнул рукой: «Ладно, забирайте с собой! Некогда!».

Медсестра лазарета рейхсканцелярии Лиз Линдехорст показала Герде, где ей жить и как выполнять свои обязанности. Целый день 28-го Герда стирала наверху, на кухне, где была горячая вода, а 29-го ей приказали бросить тут все и спуститься в бункер, чтобы работать там. Сына велели оставить наверху, но она в ужасе ухватилась за него, и эсэсовец, как и те двое, махнул рукой: «Ладно, некогда, забирайте!». Герда стала стирать внизу; ей отвели закуток в комнатке, где лежали раненые и куда была выведена труба, по которой все еще подавалась горячая вода, и Герда работала, стирала, не разгибая спины, ничего не видя, не слыша, только изредка справляясь у кого-нибудь о сыне, которого взяла к себе добрая фрау Геббельс. Мальчик сам иногда забегал к ней, часто вместе с младшей девочкой Геббельсов Хайди: дети садились на корточки, надували пузыри из падающей на пол мыльной пены и не хотели уходить, даже пробовали прятаться, когда их звали.

Герда стирала, стирала, и одна мысль сверлила ей мозг: «Когда же мы отсюда выберемся?». Особенно когда стены бункера начинали как-то странно подрагивать. Секретарша Кристиан пришла за чистыми рубашками и сказала, что русские танки на Вильгельмштрассе. «А когда же мы...» — начала Герда, но Кристиан ее оборвала: «Пока фюрер жив, мы останемся!» — «Вы что, не поняли, фрау, — бросил ей раненый эсэсовец с гангреной, — никуда вы отсюда не выберетесь. И мальчишка ваш — тоже».

30-го, около десяти утра, когда Герда все еще стирала, за ее спиной раздался топот; раненые приподнялись, все взгляды потянулись к двери. В лазарет вошел Гитлер. Минуту он стоял, обводя лица покрасневшими глазами; судорогой у него свело щеку, и он резко прижал к ней ладонь, точно дал себе пощечину. Потом кивнул всем и вышел. Кто-то зарыдал в голос; кто-то истерически расхохотался.

«Он... простился», — догадалась Герда. Ее почти не тронуло, что она видела фюрера так близко; она думала только о сыне: может, теперь их выпустят? Но время шло, а она все стирала, стирала... Стены вокруг потряхивало, и казалось, вот-вот все рухнет и разверзнется ад, потому что ад был теперь над головой, а в нем ее старший мальчик. И она начала молиться и молилась, молилась над грязной пеной, привычно повторяя эти слова: «Фюрер, мой фюрер, данный



мне Господом, спаси и сохрани мою жизнь, фюрер, мой фюрер, моя вера, мой свет... умри же, наконец! Умри же! Умри...».

Из всех подвалов и бомбоубежищ выползал сейчас в пылающий воздух Берлина этот жаркий сухой шелест тысяч материнских губ — молитва арийской матери, самая бессильная из материнских молитв.

## Смерть поэта

Последний век, остававшийся до символического начала новой эры, Рим доживал смутно и кроваво. Сулла и Марий, разгромив Митридата, попеременно захватывали город, устраивая жуткую резню, и горожане по утрам, случалось, гадали, чьи обезглавленные тела опять сбросили ночью в сточную канаву у Фламиниевой дороги: сторонников ли диктатуры или защитников демократии, вскормленной молоком волчицы — голышом-то все выглядели одинаково.

«Петушинные бои» полководцев раздражали зверя, дремавшего в недрах римской государственности — восстание Спартака грозным порывом развеяло на время все распри: молодой Красс и молодой Помпей грозили всем — оптиматам и популярам, всадникам и плебеям, а Рим праздновал и обжирался. Рим любил своих победителей. Особенно таких, кто умел хорошо кормить и хорошо развлекать — как умел это молодой, удачливый полководец и неукротимый интриган Гай Юлий Цезарь. Разоряя несчастную Галлию, Цезарь гнал в Рим стада рабов, табуны лошадей, обозы с золотом на сорок миллионов сестерциев; оплачивал грандиозные представления в цирках, пиры и увеселения, превращая будни свободных римлян в вечные праздники Сатурналий.

Поэты-неотерики искали новые формы, чтобы воспеть щедрого проконсула; и только Цицерон еще рисковал порой напомнить гражданам Рима строчки из Квинта Энния: «Нравами древними держится Рим и доблестью граждан...».

Но ничто не длится вечно: опустошенной, смердящей трупами Галлии стало нечем кормить алчущий Рим. Средства Цезаря таяли, и осталось ему последнее: стравив Помпея с Крассом, самому сделаться популяром, снять золотую пряжку со своей хлены<sup>[1]</sup> и заговорить с толпой языком Тиберия Гракха.

За полвека до новой эры Цезарь снова перевернул римский мир: богатство переставало быть доблестью; плебеи расправляли плечи, патриции переходили в плебеи, чтобы иметь право избираться народными трибунами и выдвигать популярные законы. В атриях курили благовония богам и возносили хвалы простоте, стоицизму, спартанским добродетелям...

И снова на Рим поползли тучи; триумвират распался, надвигалась гражданская война. В сумерках становилось опасно, как по ночам, Палатин вымирал; по улицам носились

Конец ознакомительного фрагмента.  
Приобрести книгу можно  
в интернет-магазине  
«Электронный универс»  
[e-Univers.ru](http://e-Univers.ru)